

Эрна Лакстигала

Так было

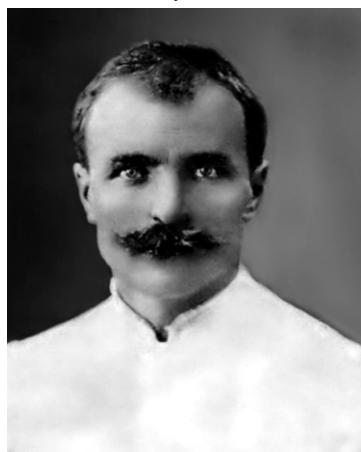
Эрна Петровна Лакстигала родилась в семье латышского учителя в 1906 году, трудовую деятельность начала во время войны в русско-латышском поселении на дальневосточной земле Амуро-Балтийск, учитель русского языка и литературы с 55-летним стажем, почетный житель города Зеи, Амурской области. Лицей № 3 города Зеи носит имя Эрны Петровны Лакстигала. Краевед, автор многих статей по истории края. Умерла и захоронена в городе Зее в 1996 году.



Попробую рассказать о нас, наших родителях, о переплетающихся по законам рока судьбах людей, теперь, наверное, уже прошлого века. Ничего не пишу о детях, тем более – внуках. Пусть они сами продолжат историю нашего рода, начавшуюся много лет назад в далёкой Латвии.

Учитель Петр

С опушек густого елового леса смотрел чистыми окнами в прозрачную воду заповедного озера Усмас небольшой, но уютный дом. Неподалёку, в десяти минутах



ходьбы по зеленоющущему лугу хутор Вильнисов. Маме шестнадцать. Бабушка убирала школьные классы, и дочь Минна иногда с удовольствием помогала ей. А учительствовал в той школе молоденький двадцатилетний Петр Лакстигал, для меня, позднее, просто «папа». Здесь и пересеклись судьбы этих двух семей.

В 1907 году папа закончил Валмиерскую учительскую семинарию, семь лет работал в школах Латвии. Осенью 1914 года папины дядья, перебравшиеся попытать счастья в дальневосточных глухих краях, позвали племянника к себе.

И вот он уже 27-летний учитель народного училища села латвийских переселенцев Амуро-Балтийск. Весной следующего года в Амурскую область приехала и мама. Надо было иметь немалое мужество одной ехать в такую даль, на край света. Ехать не к мужу, пока еще жениху.

Расстаться с родиной, близкими и больше никогда их не увидеть. Только что была проложена Транссибирская железная дорога. Доехала до какой-то крошечной невзрачной станции со странным местным названием Тыгда. Долго добиралась на лошадях до Амуро-Балтийска. Ранняя весна, дома уже проталины, а здесь холода стояли невиданные. В те годы зимой в Амуро-Балтийске температура доходила до минус шестидесяти, а в горах за речкой Зеей – и того ниже. Поэтому возчики грузов на здешние золотые прииски поверх полушибков надевали длинные, до земли тулулы мехом вверх, чтобы не отморозить нос – шили для него специальные чехлы из овчины. Вот такой неуклюжей куклой-неваляшкой прибыла невеста Минна к своему суженому.

Отношения свои папа с мамой не афишировали. С сельчанами учитель Петр Петрович объяснялся просто: «Сестра приехала». Время шло – «брату» стали оказывать знаки внимания сельские подружки, «сестра» была в центре внимания деревенских парней. Как-то один из них, Арнольд Каулин, после «вечёрки» (все вечера, концерты, танцы происходили в школе), когда все разошлись, остался на школьной завалинке и подглядел в окно, как «брат» целует «сестричку». Вскоре вся деревня узнала о молодых супругах.

Тут совсем кстати приехал пастор из Владивостока. Он приезжал несколько раз в году в латышские деревни (а кроме Амуро-Балтийска в районе были еще Уютное, Айзупенка, Средне-Островная, хутор Дарбин, ныне Чалбачи...), где проживали люди лютеранского вероисповедания. Пастор читал молитвы по усопшим, крестил народившихся в его отсутствие младенцев, благословлял молодые семьи. Он-то и обвенчал маму и папу 11 июня 1915 года.

К маме у меня было чувство щемящей любви и очарования ее добротой, теплом, врожденной деликатностью. К папе – чувство преклонения,уважения, даже если он меня наказывал. Наверное, я идеализирую отца, хотя и хочу быть объективной. Может быть он и не был безупречным героем времени, но человеком безукоризненной порядочности вне всяких сомнений. Кодекс чести я переняла у него на всю свою 55-летнюю учительскую жизнь. Дистанция между нами была. И какой же был праздник, когда он становился ближе к нам, детям. Ради этого стоило и захватить. Выйти зимой за дом, снять пальто и постоять на ветру. К вечеру поднималась температура, папа не отходил от моей постели. Это было так хорошо!

Рассказывать последовательно не получается. Буду писать о том, что вспомню, что всплывает в памяти.

Ссорились ли родители? Не знаю. Может быть, где-то без нас. При мне ни разу! Надо было только видеть, как отец смотрел на маму, когда прибегал с работы, как кружил ее на руках (длинные мамины косы вразлет!). И это, когда ему было около пятидесяти. Нет, не могли они ссориться, поссорившихся сразу видно.

В мои дела отец не вмешивался. Но, видимо, гордился тем, что я в четыре года хорошо читала. Просил меня читать книги проверявшим амуро-балтийскую школу инспекторам. Позже, восьмилетнюю, зачитывать главы из учебника литературы взрослым ученикам 5-6 классов.

Жилось трудно: семья большая, жалованье маленькое. Держали коров, свиней, садили огород. Папа любил огородничать. Разводил небывалые сорта овощей, цветов, выращивал шампиньоны. Одних только анютиных глазок росло возле школы двадцать семь сортов, получалось что-то вроде большой шахматной доски с отдельным сортом в каждой клетке. Отец квасил какие-то растворы, поливал огород. Зато потом осенью с двух кустов полное ведро картошки. У нас были самые ранние помидоры.



Зея. Западная часть Чуринской улицы, съ общимъ видонъ на Сѣверо-Восточную часть. Города. Вдали отроги хребта Тукурингра.

Помню, когда мы еще жили в школе, пришел сосед и говорит: «Знаете, Петр Петрович, в Овсянке (большое село неподалеку) видел чудо: на подоконнике совсем красные помидоры! В здешних краях они ни у кого не вызревали. Плоды собирали зелеными, да так и засаливали на зиму.

Папа пошел в класс и вынес полную корзину красных помидор. Гость только руками развел.

Мама же почему-то терпеть тогда не могла помидоры. Когда несла гостям на стол тарелку с помидорами, даже лицо отворачивала. Это потом она могла целую осень жить только на хлебе с помидорами.

В магазин папа всегда ходил сам, маме было просто некогда. Покупал все оптом: если сорочки – то дюжину, если полотенца – целый рулон. Помню, папы уже не было, а мы все от того рулона полотенца отрезали.

А как он любил попариться в бане! Полотенца признавал только домотканые, холщовые. (Берегу одно из них всю свою жизнь.) Потом долго пил чай, заваренный мамой с земляничным листом, укропом и тмином. А может быть просто настоящего чая не было в доме? Чаще пили ячменный кофе с молоком. Иногда папа делал его из корней цикория, даже ягоды бузины сушили и перемалывали.

Свою маму папа любил горячо и преданно. Любой ценой хотел с нею увидеться. Но Латвия в то время стала

буржуазной республикой и граница была на замке. А тут в июле 1926 года учителя Лакстигала избирают делегатом первого Всероссийского съезда по вопросам народного образования в городе Санкт-Петербург. Помимо заседаний предполагалась экскурсия амурских учителей в Москву и на Волховстрой. А от Волхова не так уж далеко и граница. Я слышала, как папа рассказывал потом: «Взял узелок с бельишком под мышку и пошел в сторону границы с Латвией. Думаю, если задержат, скажу: иду, мол, из бани. Видно, заблудился». По всей вероятности тогда его задержали и посадили. Потому что вспоминаются мне рассказы его о переполненных камерах, о том, как спали вповалку на нарах, как по команде все переворачивались на другой бок. Так больше и не повидал он свою мать. Потом бережно хранил фотографию, где она в белом платочек лежит, успокоившись, в гробу.

Уже наступил сентябрь 1926 года, ребятишкам деревни пора учиться, а от учителя ни слуху, ни духу. Мама одна, от мужа никаких вестей. Кинулась к гадалке. Та бобы раскинула, взгляделась: «А король твой вот-вот у порога!» И в самом деле, дверь открывается и на пороге он – долгожданный.

На какое-то время границу открыли и латышам, имевшим статус беженцев, разрешено было вернуться на родину. Везли всех морем из Владивостока прямо в Ригу. Наши уложили вещи, продали коров. Мама вспоминала, как утром по инерции хватала то подойник, то ведро для пойла и шла к пустому хлеву. Как жутко выглядело осиротевшее подворье... Отдел образования написал в справке: «О Лакстигале никаких компрометирующих сведений в делах УНО не

имеется» и разрешил выезд. Пока собирались, ехали пароходом до Благовещенска, границу снова закрыли. Немногие успели выехать. Мы остались. И то ладно. Иначе бы пришлось в 1947 году заново Сибирь осваивать. Поздней осенью двадцать седьмого года по просьбе жителей села семья вернулась в Амуро-Балтийск, где Петр Петрович Лакстигал вновь начал учительствовать в «латышской советской школе первой ступени».

Папа был интеллигентом в первом поколении, но интеллигентом истинным, широко образованным. Кроме общеобразовательных наук их в училище обучали пению, игре на скрипке и органе, основам сельского хозяйства, юриспруденции, ручному труду по дереву и многому другому. Из композиторов папа любил более всех Грига, из писателей – Гамсuna, из поэтов – Пушкина, Лермонтова, Райниса. Много рассказывал мне о памятнике и надгробии Райниса, показывал фотографии. Помню, как я горчилась, впервые узнав из рассказов отца, что девушка, которая позировала скульптору, простила на сеансах и умерла. Так что этот памятник не только Райнису, но и ей.

В одной из анкет на вопрос: «Кто из старых большевиков знал вас лично?», – отвечал: «Бонч-Бруевич». В графе «партийность до 17 года» писал – «социал-революционер». Как же страшно звучала позже

аббревиатура этих слов: «Эс-эр», за одно это можно было запросто лишиться головы. После революции папа стал беспартийным, но во времена японской интервенции знамя для Кошелевского отряда не отказался сделать. Об этом мне рассказал много позже в Латвии Эрнест Раман, бывший партизан этого отряда.

Помогало выжить умение шутить. Папа был озорной интеллигент. Иногда дома смешил маму потешными рифмовками с соленым словцом. А в народной «Во кузнице» в финале делал большие глаза, принимал наисерьезнейший вид и, пружиня на пальцах ног, проговаривал: «Ах, рассукин сын таракан, проел Дунин сарафан. По-над, по-над самою дырой, под названием п.дой». Или читая название газеты «Тихоокеанская звезда», вставлял в строку другое слово в рифму и хитро поглядывал на маму: не улыбается ли? Мама не одобряла таких шуток. За все годы я ни разу не слышала от нее ни одного бранного слова, даже в пересказе чужой речи, состоящей из одних крепких выражений.

В Амуро-Балтийской школе учились и великовозрастные балбесы (лет под двадцать). Пакостили изрядно. Как-то комиссия отдела образования проверяла нашу школу. На уроке математики Мишка Сипко поднимает руку с невинным видом: «Можно вопрос?». Проверяющие зауважали «эрудита». А он: «Петр Петрович, если бык большой, а корова маленькая – он её раздавит?». Комиссия оцепенела. А папа улыбнулся: «Я думаю – нет» и спокойно продолжил урок.

К празднику общими усилиями школьники ставили какой-то спектакль. Папа направляет сценическое действие из суфлерской будки. Надо говорить Мишке, а он молчит. Папа подает реплику – снова тишина. Оказалось, Мишка подошел к авансцене, расстегнул порты и помочился прямо в зрительный зал. Ну, как с такими ученичками сладить? Или Роберт Линдеман погнался за взрослой девчиной. Та – бежать! Заскочила в панике на школьный чердак. Роберт – за ней. Только спустил порты, а папа как врежет его ремнем по голой заднице, бедолага чуть в слуховое окно не выпрыгнул. Оказывается, папа бежал следом за горелюбовником, на ходу и ремень снять успел. Как-то Ленька Михалев (надо же, всех помню!) с другом решили учителю отомстить. В школе был черный ход с крыльца и сразу направо в нашу кухню, а между ними уголок коридора. Папа ушел за дровами, Ленька спрятался в этот угол и подготовил орудие убийства – пилу. А Ленькин друг забежал вперед папы, который шел медленно с охапкой дров, и получил удар пилой по голове. Месть не состоялась. А рана у мальчугана гноилась все лето. Но чаще, конечно же, жили дружно – мирно.

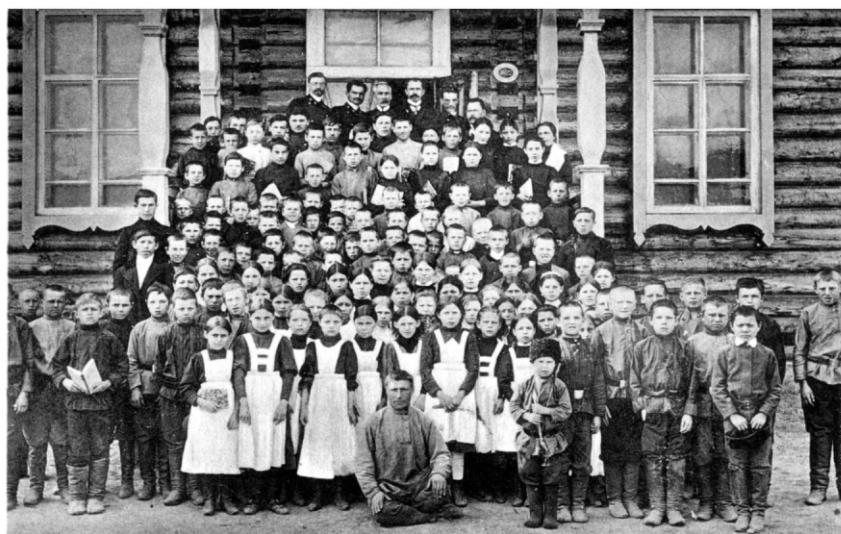
Много гостей бывало у нас. Думаю, не бог весть, какие были разносолы с учительского жалования. Просто, видно, душа требовала общения, творчества. Репетиции интернатовцев (детей «кулаков-стоверстников») проходили тоже у нас в доме. Щелкнет папа по камертону, поднесет его к уху, тянет ноту: «Ля-ля-я». Потом все распеваются, и после этого начинается серьезная репетиция. Хор взрослых пел «Там

вдали за рекой», «Марш авиаторов», «Песню о челюскинцах», «Заводы, вставайте!» Ребята разучивали песни Дунаевского, отцу нравилось его творчество, «Распрягайте, хлопцы, коней!»... Сам очень любил петь шаляпинскую «Блоху». Рассказывал, что в двадцать шестом году ему посчастливилось слушать Шаляпина на прощальном концерте, который Федор Иванович давал перед отъездом за границу. Отзывался о концерте восторженно. Мы же завороженно слушали пушкинское «Ворон к ворону летит» в папином исполнении. Как проникновенно тихо выводил он последнюю строфу: «А хозяйка ждет милого, не убитого – живого...» А когда пел финальное «Плачьте, красавицы, в горном ауле, справьте поминки по нас. Вслед за последнею



Зея. Группа учащихся Романовского начального училища.

меткою пулей, мы покидаем Кавказ», – взгляд его становился печальным и голос трагически замирал, обрывая последнюю ноту. Почему он так любил эти песни? Может быть, что-то предчувствовал? Любимые папины инструменты – скрипка и фисгармония. К скрипке чаще обращался в трудные минуты, особенно, когда тяжело и долго болела сестренка моя Айночка. Фисгармонию купил в городе Зее у Грошевикова. Вез в деревню зимой, на лошадях ее, укутанный шубами, как драгоценный груз. Таким инструментом и внесли в дом. Когда фисгармония отогрелась, папа бережно раздел ее. Помню руки его на клавишах – крупные, грубоватые... Воскресенье, утро, мы, ребятня, еще спим, а мама хлопочет у печки. Вымыты полы. Пахнет пирожками. Папа тихо играет на фисгармонии... Помню папины глаза, темные, сине-зеленые, почему-то прозрачные. Лохматые брови, смешливый взгляд и ироничные слова: «Молодец, молодец, делай так и дальше». Они обладали огромной силой воздействия, отбивали охоту к детским пакостям. Я даже просила его: «Ты лучше отпусти меня, но не смотри так». Он улыбался и продолжал воспитывать по-прежнему. Лет пяти от рода посыпал меня одну пешком в магазин, что в соседнем селе. Проверял, знаю ли я повороты дороги, ведущей в Овсянку, могу ли самостоятельно выйти из леса. А сам шел следом за придорожными кустами. Когда на обратном пути за перевозом ко мне подошел «bamовец»



Зея. Группа учащихся Пушкинского училища.

(ссыльный), я заорала, в одно мгновение папа оказался рядом. Сам – музыкант, а меня не заставил освоить инструмент. Считал, что из-под палки ни к чему нельзя привить любовь.

Когда папа читал вслух в начальных классах «Слепого музыканта» Короленко, никогда не мог дочитать одну из глав. Уходил за классную доску, (она стояла на ножках) вытирая там слезы и с трудом заканчивал чтение. Видно, вспоминал в эти минуты своих маленьких сынов. Сильный, находчивый, мудрый учитель для многих селян, папа терялся в горе. Когда утонул маленький братик (папа считал, что по его вине) отец пытался покончить с собой. И тогда мама, хрупкая и нежная мама, взваливала все на свои плечи: и материнское страдание, и заботу об обезумевшем от горя муже. Мама всегда была рядом с ним, во всем поддерживала. Когда умер Ленин, она свою единственную бархатную юбку разрезала на траурные ленты для школьного знамени. Папа ставит спектакль – она играет в нем любую необходимую режиссеру роль. Помню маму в образе китаянки с длинными-длинными косами. Если надо, и меня прихватят. Первую свою роль, по словам мамы, я сыграла в девятимесячном возрасте. Постановщику был нужен вякающий младенец. А в четырехлетнем возрасте мне доверили роль с текстом. До сих пор помню свою единственную реплику: «Зубы у меня крепкие! Во!» Так трудящееся дите в моем лице отвечало на кулацкую угрозу. Если по ходу пьесы должен быть накрытый стол, до бутафории не унижались, мама готовила всё, что по замыслу автора должно стоять на столе. Однажды Воробьев держал такую долгую паузу, что зрители уже начали волноваться, а актер не мог произнести свою реплику, потому что упивался колбаски, приготовленные мамой.

Старожилы села до сих пор помнят яркий праздник – 100-летие со дня смерти Пушкина, организатором которого был тоже наш папа.

Ребята и взрослые долго засиживались после репетиций и о чем-то беседовали с учителем, серьезно и доверительно. (Часто теперь думаю: «Господи, как сделать, чтобы ученик не предавал своего учителя, даже спасая себя?»)

В тридцать первом вместе с односельчанами

вступили в колхоз «Ударник» и мы – Лакстигалы. Согласно акту обобществления в неделимый фонд сдали: нетель (нетельную крову) пеструю 2-х лет, пшеницы семенной 2 пуда 19 фунтов, овса семенного 2 пуда 15 фунтов, деньгами 105 рублей 37 копеек.

Трудным для нас был тридцать третий год. Летом пала корова Эда (а как в селе без коровы, да еще, если дети малые?) Колхоз выделил телку, но та подавилась картошкой, не выжила. Ослабевшая мама заболевает тифом (брать Эдгар совсем еще грудничок). Пока маму выхаживали в больнице, у папы началось рожистое воспаление. Без сознания, с жуткой температурой увозят в овсянковскую больницу и его. Врач Будин провел по груди чуть выше сердца каким-то лекарством линию: «Если опухоль остановится здесь – выживет, если перейдет...» Остановилась! Спасли! Вернулись домой вместе с мамой. (Без родителей мы жили с какими-то чужими людьми, и было нам очень плохо.) Мамины роскошные косы были обрезаны, острижена она была, как мальчишка, «под машинку». Пытаясь дать грудь малышу – Эдгару, не узнал, все кричал «У-ди!» Заплакала, повязала платочек. Стал приглядываться к маме, узнавать. Не отчаялись мама и папа в потоке бед, не разучились любить.

Помню (из раннего детства): ночь под Троицу. Полная луна освещает нашу комнату при школе. Мама уже спит. Папа на цыпочках пробирается в комнату и ставит у маминого изголовья молоденькую березку, застилает пол свежей травой с первыми цветами. Когда отца не будет на свете, много позже этой светлой ночи, мама, так же крадучись, принесет мне в день рождения куст шиповника.

Тридцатые годы. Отчетливо помню чувство страха. Было жутко, особенно вечерами. Беда уже постукивала в двери. Что будет война, чувствовали, даже мы, дети. Страшно было и от войны в Испании, и от конфликта на КВЖД. Это же совсем рядом! Летом я все время боялась войны с немцами, зимой, до ледохода, – с китайцами. Все чудилось, что придут в деревню китайцы и всех вырежут. Папа рассказывал, как у Благовещенска, что на Амуре, в двадцатые годы китайцев толпами спускали на воду, «переправляли» на тот берег, видимо, попростутопили. И как они кричали: «Мы все равно придем, и не будет вам пощады!»

На уроках пения учили маршевые бравурные песни о КВЖД: «Так махнули, так тряхнули, живо так ответили, что все Чжаны Сюэляны живо дело сметили...» или «Дальневосточная опора прочная!» Все вокруг было словно наэлектризовано. Война витала в воздухе.

Летом 1937 года случилось полное солнечное затмение. А зимой тридцать восьмого, 22 января с северной стороны вдруг больше, чем на полнеба запыпало алое пламя. Больше двух часов бился, пульсировал этот кроваво-красный свет. Все это усиливало чувство страха. В это время в село провели радио. В основном шли прямые трансляции, (наверное, тогда еще в записи передавать не умели) процессы над «врагами народа». И мы их слушали...

В ходу был рифмованный куплет, предтеча нынешних анекдотов. Однажды папа, оглянувшись, чтобы без свидетелей, пропел для мамы: «Ленин Троцкому сказал: «Троцкий,

я муки достал. Мне кулич, тебе – маца. Лам-ча-дрица отца!» Пел для мамы, но у нас тоже уши были, и к тому же крепкая память.

Придя с траурного заседания в годовщину смерти



Зея. Церковь во имя Святителя Николая.

Ленина, папа рассказал, что после выступлений всех докладчиков председательствующий обратился в зал: «Может, кто еще хочет сказать?» Подняла руку маленькая девочка (фамилию я теперь уже забыла): «Хочу стишок про Ленина рассказать». Взрослые засуетились, вывели на сцену, подняли, поставили на табуретку. И вдруг услышали звонкое детское: «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал, чтобы хлеба не давал, сала не показывал!» Родителям это даром не обошлось.

Как-то летом мы получили письмо от папиного брата Ивана, который «исчез» в двадцатые годы. никаких вестей от него не было полтора десятилетия и вдруг: «Я хотел бы повидаться с вами...» Ответили ему телеграммой с приглашением. Приехал дядя фантастически быстро. Был он невысокого роста с гривой белых зачесанных волос, с такими же белыми пушистыми усами. Очень похож на Райниса, отчасти – на Грига. Оказывается, дядя был проповедником и посему загремел на Соловки, где и просидел пятнадцать лет за религиозную пропаганду. Освободился, но за границу, в Латвию, уехать не мог. Добрался до нашего хутора. Помогал по хозяйству, строил омшаник, лечил больных заговорами. Помню, как дядя говорил папе, что наш народ никак не может без кумира, если нет такого, сам придумает. Чем крепче его (народ) бьет кулак кумира, тем почтительнее и восторженнее все целуют этот кулак. Для меня из спичек выкладывал 666 (звериное число), потом рассыпал это число и выкладывал имя «Сталин», поясняя мне, что это и есть главный антихрист. Зимой надорвался настройке, заворот кишок, умер в три дня.

Вот ведь как бывает. Мартын Десне занял себе место на кладбище у самых ворот, чтобы по пришествии судного дня, когда затрутся архангелы, встать первым и подойти к руке Всевышнего. Не случилось. Умер Мартын где-то в ссылке, а приехавший издалека на время в гости Иван Петрович Лакстигала лег на его место – поближе к Богу.

В нашем доме о политике не разговаривали или говорили осторожно, иносказательно, чтобы мы не могли пересказать на улице. Это грозило бедой всем. Хотя, надо сказать, в то время даже шестилетки знали – надо молчать. И молчали. Дети взрослели рано и быстро.

Последний свой год отец сильно страдал от бессонницы. Ничто ему не помогало. Давили предчувствия. А я, глупая, завидовала ему: «Вот бы мне бессонницу! (Я часто просыпалась на первые уроки)». Он на полном серьезе: «Не дай Бог, доченька!» Недавно прочитала дневники Вернадского за тридцать восьмой год, в котором он пишет о себе и многих ученых, страдающих страшной бессонницей. Все стремительно слабели физически, теряли творческую работоспособность. Страшное, проклятое время!

Беда ходила за нами неотвязно. В 1937-38 году слегла корова, потом сестренка Зенточка сломала ногу, Ая заболела полиомиелитом, папу положили на операцию. В каникулы ему неудачно сделали операцию, начался перитонит. И только в первой декаде апреля отца привезли домой. Он не вставал с постели. Даже наши шаги по полу трясли кровать и причиняли ему боль. Но он скоро встал на ноги и пошел на работу. Ходил дня два...

Утром 15 апреля 1938 года часов в десять утра к нам прибежала Мильда Каулина и рассказала, что слышала, как накануне в овсянковской столовой барабанился подвыпивший председатель Амуро-Балтийского сельского совета Лиханов: «Завтра арестуют Лакстигала, а в субботу председателя колхоза Звайгзне». Конечно, можно было успеть спрятаться, бежать в тайгу. Ну, куда же бежать больному человеку! Да и знал он, что за исчезнувшего



Зея. Молебствие перед открытием операции Зейского Кредитного Т-ва.

расплачивался всегда кто-то из членов семьи. Могли забрать маму. Наверное отец все просчитал и решил дождаться гэпэушников. Пошел, как обычно, на работу...

В тот день через печную трубу в школу залетел воробей. Уборщицы Гаврилюк и Бородина горестно качали головами: «Очень плохая примета!» Все в школе запомнили этого воробья. Папа вел литературу в своем любимом 7^А, в дверь постучали, вызвали. И больше он в класс никогда не вернулся. Пока в доме шел обыск, мама успела сбить отцу небольшой узелок с бельем, положила маленьку подушечку, которую он подкладывал на учительский стул: не мог сидеть на твердом после операции.

Был четверг, в моем классе – урок черчения, которого я боялась больше всего. На переменке я побежала домой за

этими письма все по одному перетаскала в интернат. Мы читали их, плакали, грелись у чужой любви. Незаметно как-то их разобрали. Мама очень огорчалась, говорила, что я потом буду очень жалеть об утраченном. Как она была права! Хоть кусай сейчас себе локти. Не вернешь!

Забрали в тот роковой день много книг. Больше я не видела в доме томов латышских авторов, Артема Веселого «Россия, кровью умытая» (видно, насторожило название)... Забрали фотографии, стихи, ноты (папины сочинения). Унесли с собой ружья. Охотничье нарезное системы «Телль» (завода Заэр) № 137256 и мелкокалиберное охотничье однозарядное нарезное ружье системы «Франкот», бокового огня № 718000*4347. А больше и нечего было забирать. Куда все дели? Забрали и с концом... Может быть, кто-нибудь из потомков, ветеранов ГПУ, развяжется с нашими ружьями на охоте... Я пытаюсь разыскать, но безуспешно.

Соседи рассказывали, как семилетний Эдгар (мой младший брат) кидался на милиционеров, кусал их зубами, не давал в обиду своего папку. Не помогло.

На утро следующего дня мама пошла доить корову и вдруг вбежала в дом, схватила нож (не могла отвязать корову, хотела разрезать узел). А у меня сработало: «Снова обыск!». Торопливо запихала все бумаги в печку и подожгла. Может быть, сожгла что-то важное, необходимое. Позже пешком, босыми ногами (лед на реке Уркане еще стоял) сбегала в соседнее село, чтобы предупредить второго заложника односельчан-доносчиков Звайгзне.

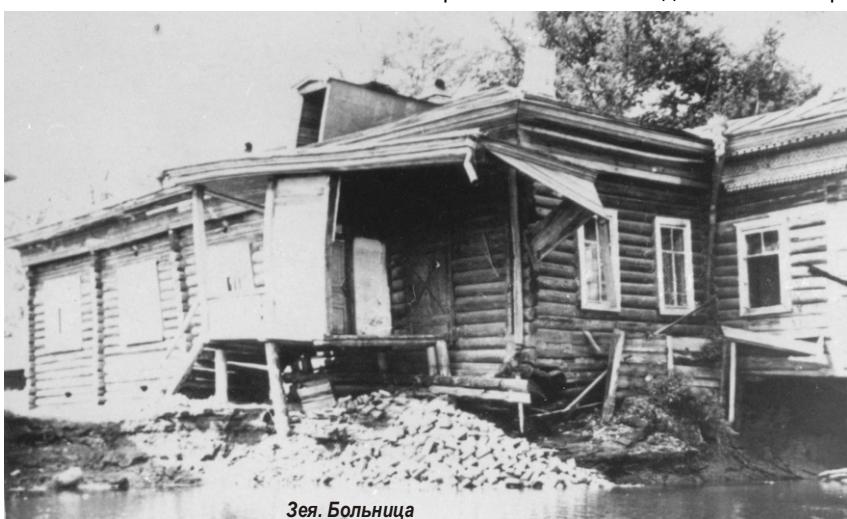
К несчастью, хозяина дома не было. Его годовалая дочурка Нина высыпнула из зыбки свою белую головку и безмятежно улыбнулась... Из Овсянки папе было велено самому приехать в зейскую городскую тюрьму. И он поехал! Сам пошел, как кролик в пасть к удаву. Еще можно было бежать! В тайге искать боялись. Но дома четверо детей и любимая жена в ожидании пятого. Могли арестовать и ее.

Я пришла к отцу попрощаться. Он сидел у столовой, ждал машину. Рядом лежал собранный мамой узелок.

Поговорили немного. Я старалась держаться по-взрослому. Сухо, строго, деловито. Пижонила ужасно. Напоследок сказала чью-то чужую фразу: «Ну, пока! Может, больше не увидимся». Он печально посмотрел на меня: «Скорее всего, дочь, так и будет» (говорили мы по-латышски). Я по-мужски пожала ему руку и пошла прочь. Даже не поцеловала его на прощание! Даже не оглянулась!

Позднее Анна Цируль, папина двоюродная сестра, была в Зее, видела в щель глухого забора, как папу выводили на прогулку на пятакоч тюремного двора. Папа услышал ее голос, узнал и едва заметно кивнул головой.

Как пытали в зейской тюрьме, рассказывали побывавшие там. Женщинам конским волосом отрезали соски на груди, заставляли сутками стоять на высоких каблуках, не позволяя опереться о стену. Раздавливали в дверях пальцы. Мужчин вынуждали согнуться, поднять выкрученные за спину, подобно крыльям, руки. Часами стояли заключенные со склоненной головой в таком положении. Потом охранник-палач с силой бил их



Зея. Больница

чертежом. А у нас все перевернуто вверх дном, у печи гора бумаг. Я возмутилась: «Кто это рылся у меня на столе и опрокинул тушь на чертёж!» И вдруг, хоть никто не сказал мне ни слова (ни папы, ни милиционеров в доме уже не было) поняла, что произошло!

При аресте забрали все бумаги, все письма. Только свои личные письма от папы к ней, перевязанные розовой ленточкой, мама бесстрашно выхватила из рук гэпэушников, не отдала на публичное осмение самое дорогое. Потом я



Зея. Магазинъ Торгового Дома „И. Я. Чурилинъ и К-о“.

Торговый дом стоит и по сей день

прикладом по шее, кожа мгновенно лопалась, кровь била фонтаном. О таком виде пыток я не читала ни в одном документе. Видно, это было местное изобретение.

Петр Дексне (двоюродный брат), вызванный на допросы, подписал показания, подтверждающие абсурдные обвинения в том, что наш папа англо-германский и еще какой-то шпион. Потом Дексне плакал, каялся, сожалел о том, что так поступил, просил у мамы прощения. Жить, мол, каждому хочется.

Был в деревне кузнец Лукстарауп, богатырь с большой огненно-рыжей бородой, всегда расчесанной надвое. Когда папу пытали, Лукстараупа заставляли смотреть, не отводя глаз. За эти часы у него совершенно побелела одна половина бороды. Кузнеца сумели убедить, если он будет благоразумным и подпишет то, что надо, папу больше не будут бить. Поверил. Подписал, надеясь облегчить участь уважаемого им учителя Петра Петровича.

В начале июня измученных заключенных зейской тюрьмы отправляли в Читлаг. Папа очень ждал рождения сына-помощника и наследника. Когда этап увозили в Читу, он бросил на урканском пароме смятый маленький шарик папиросной бумаги размером на одну закрутку. Писал химическим карандашом, твердым учительским почерком о том, что везут в город Читу, просил, если родится сын, выслать по новому тюремному адресу какую-нибудь посыпочку с кусочком сахара. Родился сын Петр, мама посыпка выслала и сахар положила. Потом эту папину записочку и молитвенник, подаренный маме в день ее совершеннолетия, я положила моей бедной матушке в гроб. Много лет спустя, рассказывал мне Алексей Савин, какое-то время сидевший с папой в одной камере, что посылку папа получил, вынул кусочек сахара и со слезами говорил о своей радости: «Сын родился!» Потом долго-долго сидел молча и о чем-то напряженно думал.

В те годы бесчестные людишки пользовались тем, что у многих мучились в тюрьмах отцы, братья, мужья. Приходили эти жулики к бедным женщинам, рассказывали красочные небылицы о том, что они, де, недавно из лагерей, что видели там ваших несчастных родных, что знают все тюремные ходы и выходы и могут передать любую передачку. Доверчивые женщины собирали последнее, исхитрялись найти даже деньги. Хотя какие в те годы деньги были в деревне, жили только тем, что давали корова и огород. Все собранное залетными проходимцами, конечно, никуда не отправлялось, а шло на здоровье этому бесстыдному жулью. К нам тоже приходили не раз. Но мы не могли ничего передать. Иногда тетушка Верещак или Нюта Деулина давали маме для малых деток черствые ломтики хлеба. И какой тогда праздник наступал в нашем доме!

Заключенных в Читлаге тоже нещадно били. «Глубинная кровь» из легких шла ртом. Это, может быть, дало повод написать в реабилитационных документах 1956 года, что Лакстигал П.П. умер в 1947 году от гангрены легких. «Сорок седьмой», конечно, наглый обман! Столько лет больной человек не мог выжить. Тот же Савин рассказывал, что папе отбили легкие, положили в тюремный лазарет, больше его никто не видел.

Лишь весной 1990 года мне выдали свидетельство о смерти: «Гражданин Лаксигал Петр Петрович умер 14 декабря 1938 года в возрасте 51 года. Причина смерти –

расстрел. Место смерти не установлено». 15 октября 1938 года тройка Забайкальского округа вынесла приговор о высшей мере наказания по статьям 58 "а", 58 п.10. Посмотреть бы в глаза этой безымянной «тройке»! Приговор был приведен в исполнение спустя месяц. Значит, еще тридцать дней пробыл папа в камере смертников. Боже, что он пережил и передумал!

Спустя пятьдесят лет мне в Овсянке рассказала Люба Таранина, что муж ее бывшей квартирантки, латыш, вернувшийся в пятидесятые годы из лагерей, видел последним папу, когда того уводила на расстрел. Папа осознавал, куда его ведут, и по-латышски сказал земляку: «Передай моим, пусть держаться. И пусть старшая воспитает младших!» Это был горестный привет от отца через полвека. Прощальное его завещание, которое я по мере сил старалась выполнить.

В ночь перед арестом папе снился сон, душит его змея. Почти задохнулся, но в последнюю минуту кто-то ее разрубил. Утром он говорил маме: «Что же ты, Минночка, меня не спасла? Не разбудила?» Всю жизнь я помнила, что



Зея. Почтово-Телеграфная Контора. (Садовая улица, домъ Бежаевой).

змею все-таки разрубли. И все годы ждала, когда же ее разрубят и отец вернется к нам. Младший наш Петенька, никогда не видевший папу, через много лет признался, что и он очень ждал его возвращения в 1963 году. Подсчитал, что в этот год истекал самый большой двадцатипятилетний срок лагерей. Все ждали и не дождались, вместо живого родного человека получили мертвую казенную бумажку.

Приговор сообщил мне официально сотрудник КГБ в присутствии еще одного собрата по ремеслу, по старой «методе» – при непременном свидетеле, весной 1990 года. Извещение о реабилитации – важный для нас документ. Можно было, наконец, высунуть голову из плеч. И слезы... горькие о потере, радостные, что хоть посмертно, отец, а мы, при жизни – оправданы. Но страх остался, подсознательный страх, что на новом витке повторятся ужасы тридцать восьмого года.

В папиной реабилитации записана неправильная формулировка: «За отсутвием состава преступления». Это неверно! Утверждаю я как учитель-словесник с пятидцатипятилетним стажем. Надо было писать: «За отсутвием СОБЫТИЯ преступления». В первом случае – преступление все-таки было, во втором – его никогда и не было. Не

было вины, неправедных ошибок, просчетов! Ничего не было!

Косили добрых, честных, умных, гордых. Папа был лишь одним из многих миллионов, что погибли в разных «лагах». За один день 31 декабря 1937 года только в

подостлав под бока газеты, лежали, молчали и плакали, плакали...

Мама переехала в село с тремя детьми. Я осталась в Овсянке, приютила учительница Жаринова, чтобы у меня была возможность закончить шестой класс. Сестренка Айя парализована после болезни, Зенточка со сломанной ногой, Эдгару – шесть лет, до рождения Пети – полтора месяца. Поселили их в холодном амбаре без потолка. Стены, крыша – и все. Амбар не отапливался, а на дворе только середина апреля. Сумели, выжили. Перебрались в крошечную комнатку на хуторе, дом занимала большая семья сосланного Мартына Дексне со слепой матерью. В комнатке была железная печь. Здесь прожили два года. А потом на Ледзеркстовском хуторе разобрали хороший дом и перевезли, а старый дом, давно приспособленный под хлев, остался. Мы гуртом вымыли этот хлев (доски пола все время оставались красными от коровьей мочи) и много лет жили в этом брошенном людьми домишке с одним оконцем в четыре стёклышка, в ладонь величиной каждое, без порога, с гуляющими по дому зимой ветрами. Обогревались у чугунной печурки. Вдоль стен стояли две кровати, был еще стол, ванна, ведро, большой котел, да деревянные самодельные ложки: выстругала какая-то добрая душа. Позже дед Меднис выменял на мед белые жестяные ведра, поношенные платьица и соль.

Мама доносила клетчатую латышскую юбку из шотландки, красивую выходную блузу, потом стала носить юбку из мешка (белья, разумеется, не было вовсе). Нам, помнится, сшили какие-то одежду из дверных штор. Конечно, самые лучшие платья доставались мне. Как же! Образование получала!

Уже после войны мама надела простое, но сшитое по росту платье из солдатского хаки, Петя все ходил вокруг и любовался: «Мама, как куколка!»

Смотрела я недавно по телевидению рождественскую проповедь и вдруг поняла, что у мамы такой же овал лица и та же кротость и мудрость, каку Богородицы в храме.

За почтой мама ходила каждый день в соседнее село. В ее обязанности входило доставлять не только письма, газеты, но и посылки, да еще надо было прихватить что-нибудь из еды (картошки, молока мороженого) нам в интернат. Выходила мама рано: в четыре утра (точного времени не знает никто, часов-то в доме не было). Зимой это глубокая ночь. Холод. Волки воют. А она одна в морозном поле. Как радовалась мама полнолунию – все светлее иди! Однажды зимой, возвращаясь домой, завязла в сугробе: ноги провалились, до земли не достают, не хватает роста. Руками опереться невозможно, в снег сразу уходят. Провалилась она в сугроб совсем недалеко от дома, у длинного поля, где мы обычно ломали сухие прутья тальника для печки. И дом рядом, и нет больше сил. Все, подумала, так и придется навсегда здесь осться. Детей вспомнила, как же они одни-то? Собралась с остатками сил – выбралась. Чуть живая дошла до детских кроваток, а дома еще работы невпроворот. Отдыхать – не время.

Бывало, детей не видела неделями. Утром уходила на работу – еще спят, вечером приходила – уже спят. Как жили, что ели – неизвестно. Сама только-только касалась постели – уже опять надо вскакивать, доить корову, варить картошку и на работу аж за меднисовский хутор. Однажды



Зея. Типы арестантовъ Зейского Арестного дома.

Амурской области было расстреляно двести невинных человек, осужденных ЗАОЧНО пресловутой «тройкой». За что? Почему? За то, что Петр Петрович Лакстигал был одним из лучших учителей области? Или за то, что один из немногих имел блестящее специальное образование (большинство учителей в те годы приходило в школы по призыву комсомола «с полей и заводов»). Или за то, что владел пятью языками, играл на любых клавишных, смычковых, щипковых музыкальных инструментах, писал стихи и музыку? Таких людей уничтожили! А сколько они еще смогли бы сделать!

К старости маме начислили две пенсии (на выбор), как колхозному почтальону – 25 рублей в месяц или за погибшего мужа – тоже 25 рублей. Взяла вторую. Что она думала, получая свои 25 рублей вместо любимого человека? Не знаю, никогда не спрашивала. Не смела спросить.

Как-то после ареста папы Мильда Каулина рассказывала маме свой сон о нем: видела Мильда учителя в тесной темной комнате без окон. В руках у Петра Петровича была фигурка с пятнадцатью не то выступами, не то рогами. И он их поочередно с трудом обламывает. «Что Вы делаете?» – «Да вот, рога обламываю. Как только отломлю последний, – говорит, – так и выйду из этой тьмы».

Вскоре началась война. Когда начали отдавать республику за республикой, я подумала, уж не те ли это «рога». А, может быть, это события конца двадцатого века?

Вот только выйти на свет белый папе нашему уже никогда не суждено было.

Мабулечка Мина

С арестом папы нас выселили из школьной квартиры. Малых ребят и скарб увезли в деревню. Мы с мамой в последний раз ночевали в бывшем своем опустевшем доме,

колхоз премировал ее к 1 Мая пятью килограммами отрубей. Теперь было что подмешать к картошке! Хлеб колхозникам не полагался вовсе. Разве редко-редко выдавали «озадки» – семена травы и меленькие зернышки, что оставались после того, как зерно пропустили через веялку. Тогда эти отходы мололи дома на ручных жерновах. Ох, и долго же приходилось крутить тяжеленные жернова, чтобы намолоть стакан такой, с позволенья сказать, «муки». Маленький Петя утешал маму: «Вот вырасту большой – я тебе каждый день буду приносить во-о-от такой кусок хлеба», – и показывал свою детскую ладошку. Это было пределом мечтаний – иметь на столе ломоть хлеба. Слава Богу, доили корову, была картошка, с весны начинали добавлять в еду разную траву, с первого тепла и до осенних заморозков Эдгар ловил сусликов. Одним словом, выжили. Я нянчила младшенького Петю мало. Зимой училась в Овсянке, Зенточка обычно пасла коров, а Айечкиных силенок и знаний хватало ровно на столько, чтобы вовремя и громко крикнуть маме на дальнее поле: «А Петя опять под кровать упал!» (У нас была неровная кривобокая кровать с панцирной, провалившейся сеткой.) Еще в нашем старом добром доме я на нее прыгала с русской печи, как на батут, и согнула все, что было возможно. Айя всего на четыре года была старше Пети. Значит, когда ему был год, Айечке исполнилось пять. И такая «няня» на весь день оставалась с малышом.

Когда мы чуть подросли, выпадали и на нашем хуторе праздничные вечера. Мы сгребали мусор и щепки, вечерами зажигали костерок и пели песни. У мамы был чистый, высокий голос. Тишина стояла вокруг на много километров, с низинок наползал зябкий туман, а мы сидели всей семьей рядышком, вместе и пели. Песня плыла над землей, улетала куда-то в прозрачное небо. И были мы счастливые-счастливые...

С началом лета, в день своего рождения, если выпадала возможность, мама водила нас в луга собирать полевой лук. В тот год ей исполнилось шестьдесят. Мы, разбежавшись по полю, щипали лук. И вдруг мама перекувырнулась через голову на весенней травке, присела на кочку, сказала негромко: «Шестьдесят лет – ума нет, и дальше не будет». И засмеялась звонко, молодо. Такие вот редкие, но памятные праздники случались на нашем хуторе.

Заметила мама, что я боюсь вечерами ходить через бор до деревни, и стала учить, как для смелости косыночку завязывать, по-старушечки, узелком под подбородком. Чем туже – тем смелее. И, знаете, помогало. Зато уж как только добегала до первых домов, завязывала косынку сзади, «помодному», с длинным хвостом.

А потом Зенточка, красавица наша, умерла в семнадцать лет. Простыла в холода. Воспаление легких – и смерть. Привезли ее домой, на хутор. В единственное окно светит мартовское солнце закатно. Небо сине-зеленое, как ее глаза морской синевы с изумрудной прозеленью. Уложили Зенточку на кровать, где она обычно спала. Топит мама печь, с нами нарочито громко разговаривает, даже песню латышскую пытается пропеть. Потом укладывает всех нас на тулуп влокат на полу, ложится рядом с нами (четырьмя теперь), гладит по головам, тихо приговаривает что-то ласковое. За полночь, когда думает, что все мы спим, тихонько на коленях подползает к умершей доченьке,

целует ее и плачет до самого утра, зажимая себе рот рукой, чтобы не разбудить нас.

Боже мой, сейчас только доходит до меня, какое это мужество, какое безмерное горе, какая глубинная материнская любовь к нам, оставшимся жить.

В день моего двадцатилетия мама задумала удивить меня каким-нибудь особенным подарком. Хотела купить аж

Лодки на берегу реки Зея. Шимановский район Амурской области, 1955-1960 г.



Фото из собрания Музея оккупации Латвии

кастрюлю! Но и после войны найти кастрюлю было невозможно. Просыпаюсь я в свое праздничное утро, а у кровати стоит яркий розовый куст цветущего шиповника, аккуратно вырезанный с пластом дерна. На лепестках роса.

Сбегала моя мама рано утром на край поля, нашла для меня «цветочек алеинский» и принесла его в наш дом. Много за долгую жизнь было подарков, но дороже этого – нет.

Мы называли свою матушку «мамой», а в деревне её уже величали «бабулей». Из этих слов Петя соорудил гибрид: «Мабуля». Так и стали звать ее все вокруг – «Мабулечка».

Очень не любила наша мабулечка осень. Она как-то слабела, съеживалась с первой опадающей листвой. И умерла она осенью, 30 октября 1962 года в 5 часов 5 минут вечера, угасла вместе с последним лучом солнца. И закричала кошка, завыла собака, коровушка Ирма замычала, прибежав под окно, у которого стояла мамина кровать.

Хоронили маму всем селом. До самого кладбища несли на руках, чтобы не тряхнуть, не потревожить ее теперь уже спокойный сон.

Там, где солнце

До моего рождения были в нашей семье два братика – Артур и Валентин. Светленькие, худенькие погодки. Души безгрешные. Прядки их льняных волосиков хранились у мамы в отдельных конвертиках. В то лето вдруг обильно зацвели миrtle, что росли на всех окнах школьного класса. Накануне беды мама видела сон: приехал в гости ее дедушка (покойный уже), говорит: «А этого мальчика я у тебя заберу!» Завернул четырехлетнего Артура в доху с волнистой голубой шерстью и унес.

Назавтра папашел с сынишкой по Линдемановскому

бугру, вдруг под ногами обрушился берег, подмытый водой, и ребенка закрутила воронка стремительного водоворота. Может, отец мог бы и спасти ребенка, но какое-то затмение охватило его: стал снимать ботинки, чтобы броситься в воду босым. Да шнурок еще затянулся... Кинулся на какое-то мгновение позже, плывал, нырял, но все безуспешно. Всю жизнь папа считал себя виноватым в этой смерти.

Через год, тоже летом, умер Валик. У него случился гнойный плеврит. Медицина тогда была такова, что у ребенка просто выпиливали часть ребер, рану затыкали бинтами. А утром вырывали эти бинты, удаляли гной. Даже представить все это на себе страшно!

Утрами, когда раздавались шаги врача, братик молитвенно складывал ручки и говорил: «Мамочка, давай помолимся Боженьке, чтобы не делали так больно». Каково было терпеть такое малышу, каково любящим его родителям! Папа каждый день прибегал из деревни в овсянковскую больницу. А в школе опять пышно цвели миры. Умер Валик, как и Артур, светлым июньским вечером.

И больше никогда не зацветали у нас миры. Росли просто так вечнозелеными растениями.

Позднее, зимними вечерами, папа подводил меня к окну школы и, показывая туда, где садится солнце, говорил



Упряжка быка. Большереченский район Омской области, 50 гг.

Фото из собрания Музея оккупации Латвии

меня: «Видишь, солнышко уходит спать к братикам». Страшный, все сковывающий холод, цепнеющая земля и густо-красное солнце, наполовину спрятавшееся за горизонтом. Я и теперь зимой, в декабре, смотрю в ту сторону, куда садится солнце, и как в детстве думаю: «К братикам пошло».

Сестренка Зенточка родилась в амуро-балтийской школе, в нашей спальне. Не помню, кто и как принимал роды. Когда меня привели в спаленку, она, уже спелёната, лежала на подушке. Поздний вечер и невыносимый холод. С рождением ребенка маму освободили от обязанностей председателя сельсовета. Она не могла теперь, как прежде, ходить пешком по казенным делам в Зею (до города полсотни километров). Машины тогда не было вовсе, а личной лошади с экипажем не имели.

В детстве Зенточка долго болела коклюшем. Папа варил снадобья по рецептам народной медицины. Помню, папа дал мне попробовать чеснок, вываренный в меду.

Какая гадость! Выносил отец свою больную девочку на утреннее солнце и долго ходил с нею на руках вокруг школы. Было Зенте годика два-три. Страшный кашель мучил ребенка. Когда она закашливалась, то не могла устоять на ногах, падала, билась головкой о пол. Коклюш дал какое-то осложнение: сейчас это называют «замедленным развитием». С годами все как будто выровнялось. Зента училась в школе, читала, писала, выполняла всю работу по дому, пасла коров.

У нее были очень густые волосы, нежное бархатистое (теперь бы сказали, как персик, но тогда мы и слыхом не слыхивали об этом фрукте) с мягким румянцем лицо, большие папины глаза цвета морской волны. Бедная золушка, которой никогда не было суждено стать принцессой...

Всю жизнь впроголодь. Ни разу хлеба досыта не поела. Картошка, трава, да молочко. Вспоминала наша сестричка как о великом событии, как кто-то, когда она пасла коров у перевоза, дал ей конфетку, маленькую, кругленькую. Мне, говорила, сразу легче стало, а то с самого утра так тошнило и голова кружилась (от голода, конечно). За всю свою недолгую жизнь она не сносила ни одной пары новой обуви. Первое неказистое платье я сшила ей к совершеннолетию, а то все разные обноски приходилось донашивать. Настоящее девичье платье из белого парашютного шелка (колхоздал) сестренке Зенте сшили для гроба.

Одежды теплой не было, простила, началась пневмония. С этим и доставили в овсянковскую больницу. Врачи «помогли», обернули больную мокрой тканью без клеенки и утеплителя, обыкновенной мокрой тряпкой — «согревающий компресс» сделали, и положили у выбитого окна в марте, который в наших краях ничем еще от зимы не отличается. Такой «гуманной методой» можно было убить и здоровую лошадь, где уж выжить захворавшей девушки-худышке. Той ночью маме привиделся сон: во дворе рухнуло наземь молодое дерево, задело старую ель, стоящую рядом, совсем ее пригнуло. Но елка выпрямилась, а тоненькая березка так и не поднялась. В три часа утра умерла наша Зенточка в полном сознании и ясной памяти.

Нам довелось пожить

Братишко Эдгар родился в канун Петрова дня, видно, папе в подарок. В маленьком классике роды принимала Мильда Каулина. Может быть поэтому ее многие годы больше всего тревожила именно его судьба.

Мне в тот день разрешили одной (без родителей!) купаться в речке Уркан, и подружка Эмилия чуть было не утопила меня. Когда часам к четырем после полудня я прибежала к школе, мне показали братика. Был он маленький, почему-то синенький, с огромным нарываем на виске. Шрам, поди, и сейчас видно. Родители объясили, что поймали мальчиконку в школьной низине, когда бежал к Линдерманам, а синенький, потому что бежал голенький, замерз.

Когда Эдгару исполнилось пять лет, деревню охватила эпидемия дифтерии. Не обошла она стороной и наш двор. Эдгар задыхался и хрюпал так, что дрожали стекла в двойных рамках, а хрюп был слышен аж у черной бересы, что росла метрах в трехстах от школы. В один из вечеров, когда пленки закрыли дыхательное горло ребенка,

папа поднял меня с постели, поставил на колени, сказал: «Молись, твой брат умирает». Женщины советовали отойти подальше от постельки больного, чтобы не усиливать мучения, дать детской душеньке спокойно отойти. Однако мама, словно, обезумев от горя, схватила малыша на руки, положила его головку себе на плечо, как обычно это делала, и стала ходить по комнате. От движения ли, от тряски, но пленка вдруг лопнула, полился гной, братик задышал, теперь уже едва слышно, и тихо заплакал. Над чудом спасенным плакали и мама, и папа, и все присутствующие. Врачей в деревне не было, да и тогда еще не лечили эту страшную болезнь. Многие потеряли тогда своих малых деток. У Натальи Кончевской в одну ночь от дифтерии умерло четверо ребятишек. Нас горе обошло на этот раз.

Эдгар рос папиным любимцем. Ему многое разрешалось и прощалось. Он мог даже во время урока открыть дверь класса и затянуть: «П-а-а-ап, дай беленьюку копеечку...» И получал такую. Иногда папа лукаво улыбался, поглядывая на учеников, натирал мелом медную монетку и подавал сыну «беленьюку» копеечку. Фальсификация сразу разоблачалась, и проситель громко ревел.

Еще мой братка очень не любил всяческую одежду. Будучи уже лет шести, он сбрасывал с себя все одежки, бежал на подвал (зимой мы с него на санках катались) и с визгом сбегал с подвального пригорка. Учительское дите и голое, как Маугли!

После ареста папы с семи лет Эдгар стал колхозным пастухом. Весь день верхом на лошади, попку свою разбивал в кровь, потом штаны присыхали к струпьям. Белья, конечно, не было никакого. Приходя поздно вечером домой (а идти с пастбища утром и вечером надо было больше пяти километров), Эдгар в одежде падал ничком на кровать и сразу засыпал.

А мама отмачивала присохшие штанишки, смазывала воспаленные раны сметаной. Утром, не сдерживая слез, тихо и ласково начинала: «Сынок, вставай...» И солнце еще не всходило, и роса обжигала своим, совсем не летним холодом, и травы выше пастушки. Весь мокрый, он приходил на конюшню, седлал лошадь, и снова на весь день. На завтрак, обед и ужин в узелочке какая-нибудь картофелина или бутылка молока, в лучшем случае.

Лет в десять бригадир Дексне посадил Эдгара на конные грабли. А ездок легкий, силенок маловато, даже дотянуться до рычага не мог. Ведь грабли делали на взрослого человека. Валки получались неровные, бригадир бил мальчишку кулаками, а мама у стога плакала навзрыд и не смела вмешаться.

С раннего детства Эдгар чувствовал себя мужчиной. Если на работу шел вместе с мамой, непременно старался шагать первым, чтобы сбить на себя росу и мама не простудилась. Единственной защитной силой брата был его язык. Владел он им мастерски: и огрызнувшись мог (отбежав на безопасное расстояние) и крутым мужицким матом загнуть... Скажет, бывало, бригадир: «Бери Рыжку, запрягай!» Он начинает: «Да, на... мне сдалась ваша Рыжка, не буду я на ней работать...» Бухтит, поругивается, а сам уже коня выведет, запрягнет, уже едет, а издали все



Фото из собрания Музея оккупации Латвии
Семья Сугайло. Переселенцы. Амуро-Балтийск

доносится недовольное: «На... мне сдалась эта Рыжка...»

Как все подростки часто бралился непонятным ругательством: «Фидрасик ты...» Только к старости поняла, что это было искаженное слово «педераст».

И тот раз подвел его, наверное, язык. Работал Эдгар неподалеку от школы на зерновом дворе. Из Зеи приехал милиционер Винокуров. Что там у них за стычка произошла – не знаю. Но, когда вышла на перемену, увидела, как Винокуров избивает моего брата. И ведь не побежала, не заступилась. Подлый страх заставил остаться на месте. До сих пор презираю себя за это.

Когда работал прицепщиком у Петра Губченко, тот рассказывал: «Три года не мог я его фамилию запомнить. Зато теперь запросто – Эндер Ульстигал!», (а братка с рождения был Эдгаром Лакстигали).

Паспортов в колхозе не давали. Налогами душили. Просвета не видно. А тут осенью подоспел набор в железнодорожное училище. Там форму обещали и кормить бесплатно. В пасмурную ветреную осеннюю ночь мы тихонько проводили брата из дома. Пошел он пешком к реке Уркан, чтобы на попутке добраться до станции Тыгда, а там поездом (которого до этого дня ни разу не видел) до училища. И опять этот липкий страх донимал нас: как бы не увидел кто из деревенских, не узнал его на Уркане, чтобы этапом не пригнали обратно. Каждую ночь прислушивались: не вернулся ли, не возвратили ли его силой домой. Несколько дней маму допрашивали: «Где сын?». Отвечала, что не знает, и все! Пригрозили: «Отберем корову, не разрешим запасаться дровами!» Пришлось расстаться с Милкой, лишь бы Эдгар был свободен и получил специальность.

Года через два с паспортом, в звании «машинист паровоза» приехал ненадолго Эдгар домой. Вся деревня

копала картошку. А я целый день готовилась к вечернему балу: варила ту же картошку, капусту, тыкву. Купили у Кончевской браги. Праздник же – брат приехал! Вся молодежь деревни собралась тогда в нашем белом домике. Утром Эдгар уехал. А мы наверстывали на картофельном поле пропущенный день. Земля уже замерзала, а не убрано было еще соток тридцать...

После армии женившись, он привозил маме на смотрины жену и дочку. Людочка – единственная внучка, которую успела подержать на руках наша мабулечка. Они пели вместе песни нового времени: «Держись, геола, крепись геола...», «Чем же мы не хороши...» Слушали, как поют весенние птицы: «Бабушка, ты знаешь, что кукушка говорит? Она говорит тебе: «Баба, живи долго-долго».

Приезжала первая внучка хоронить бабушку. Эдгару, наверное, мешало в жизни его латышское имя, частенько считали его немецким. В училище назывался Генкой. Так и записали в железнодорожных документах. Потом, в году пятьдесят пятом, вызывали меня в зейскую милицию. Надо

месяцев от роду сосала как-то сестренка мамину грудь. Забежавшая по делам тетушка Мильда заметила: «Ай-яй-яй, такая большая девочка, а титю сосет». Аяя серьезно посмотрела на нее, застегнула маме кофточку и больше к груди не прикоснулась никогда.

Как-то ранним летом сходили мы с трехлетней Айечкой в баню. Напарились, намылись, а ночью она вдруг заболела. Полиомиелит и полная недвижимость. Папа сделал деревянное корытце, оббил изнутри kleenкой. Разводили в воде соль, на простыне опускали Айочку в эту «ванну». Как-то очнулась Аяя после тяжелого забытья, папа обрадовался: «Солнышко наше улыбнулось!» и заиграл на скрипке. Играя и плакал... плакал... плакал. Все собирался, когда боль чуть выпустит из своих тисков младшенькую доченьку, отвезти ее к специалистам на лечение. Но совсем скоро не стало папы, и помочи нам ждать было неоткуда. Айна никогда не кричала, даже не плакала, как плачут все дети. Сидела молча, а из глаз ее катились крупные слезинки. Кто-нибудь подойдет, спросит: «Как дела, Айочка?» Медленно повернет головку, посмотрит снизу вверх, улыбнется в ответ: «Помалениську...» Так же молча она плакала потом от голода, сидя за печкой на хуторе. Каково было маме? Уж пусть бы лучше кричала, скандалила... Но эти детские, полные боли глаза и молчаливые слезы... Сердце бы отдала, а кусочка хлеба не могла дать.

В первом классе Аяя училась на лесопункте. Мама укладывала на санки мешок с картошкой, Аяя впряженась и везла поклажу за десять километров одна. А с ее силами и увельем нужен был целый день, чтобы добраться до школы.

В те годы Айна не ощущала так тяжело свою болезнь. Мама обычно не давала ей никаких поблажек, говорила запросто: «Айочка, сбегай, верни коров!» И она «бежала» медленными шажками, и успевала-таки отогнать коров от колхозного поля. Все годы учебы в Овсянке она пела в школьном хоре, играла в спектаклях.

Первый год учебы в педагогическом институте ушел на знакомство с однокурсниками и Благовещенском. А вот на втором курсе, когда все поголовно повлюблялись и вечерами убегали на танцы, свидания, Айна оставалась в общежитии совсем одна. Вот тогда остро почувствовала, что она не такая, как все. Инвалид...калечка! Боже, как она горько плакала!

Помню, однажды уже ночью я бросилась к хирургу с просьбой сделать моей сестре операцию. Ответили обтекаемыми фразами, невозможно, мол, ничем помочь.

После окончания института мы уговорили зейского врача Смирнова прооперировать Айну. Борис Евгеньевич сделал все, что было в его силах. Айна пошла работать в школу, несколько лет учила детей родной литературе, потом устроилась корректором в местную газету. Конечно, появлялись порой и черные мысли. Ведь была же молодая, лицом красивая. Хотелось просто побегать, потанцевать от души. Но измученное болезнью тело не слушалось. А мама успокаивала: «Ты, Айничка, радуйся: на своих ножках ходишь, ни в чьей помощи не нуждаешься. А сколько людей на земле, которые вовсе двигаться не могут».

Была наша Аяя всю жизнь маминой подружкой, ее правой рукой. При малейшей возможности стремилась быть рядом со своей «мабулечкой». Даже если для этого надо было пройти пешком несколько десятков километров



Река Зея. Баржа
Фото из собрания Музея оккупации Латвии

было доказать, что Эдгар и Геннадий – один и тот же человек, что он никого не убивал, никаких документов не присваивал. Наплетено и напутано было много. С той поры стал наш Эдгар официально Геннадием Петровичем. Мама восприняла это крещение спокойно. А повитуха Мильда Каулин очень расстроилась. Долго не могла успокоиться: «Генка. Ха-ха! Да какой он Генка-то!»

Эдгар пытался разыскать в Читинской Долине Смерти папину могилу. Безуспешно.

Сестра наша Айочка родилась тоже в Амуро-Балтийской школе, в той же спаленке. Нас привели знакомиться с нею. Новорожденная спала, завернутая в пеленочку, а папа негромко говорил: «Знакомьтесь, вот ваша сестреночка». Эдгар гневно стучал кулаком о кулаком и кричал: «Не зовите сестренкой, зовите братишком!» Папа не спускал ее с рук, самая младшая – самая любимая. Чуть подросла, засобиралась в магазин за пряниками. Старательно натягивала на голову платки, полотенца, платья, причем, затылок всегда оставался голым. Девяты

до Амура-Балтийска. И характер материнский унаследовала. Любила дарить всем подарки, но часто на них не хватало крошечной зарплаты. Но Айна ухитрялась тайком сдать кровь и на полученные деньги купить нам желанные подарки. Я узнала об этом от чужих людей случайно, сестра никогда не раскрывала своих маленьких тайн самопожертвования. Сколько горького и трудного было в ее судьбе, можно было озлобиться, возненавидеть белый свет, проклясть все и всех! А она молчала, терпела и старалась из всех своих слабеньких силенок делать добро. Последние тридцать лет – без отпусков и выходных (разве только редкие два-три часа в году, когда мы ездили к маме на могилку), ни одной минуты без напряжения. Лечь отдохнуть днем? Этого не позволяла себе, даже когда была уже тяжело больна. Лишь присядет, как в детстве, за печкой на табуреточке, помолчит и снова примется за бесконечные домашние дела. Огород – в порядке, обед – во время, посуда – помыта. Каких ей это стоило трудов! До последнего дня своего Айночка не обращалась ни к чьей помощи. Зато скольким сама помогла, скольких поддержала. Угласла ее жизнь, как свечечка на ветру. «Вот и все...», – сказала она мне, умирая. На поминках друзья признались: «Это был такой человек, который не только не сказал за всю жизнь ни о ком дурного слова, но и ни разу не подумал ни о ком плохо».

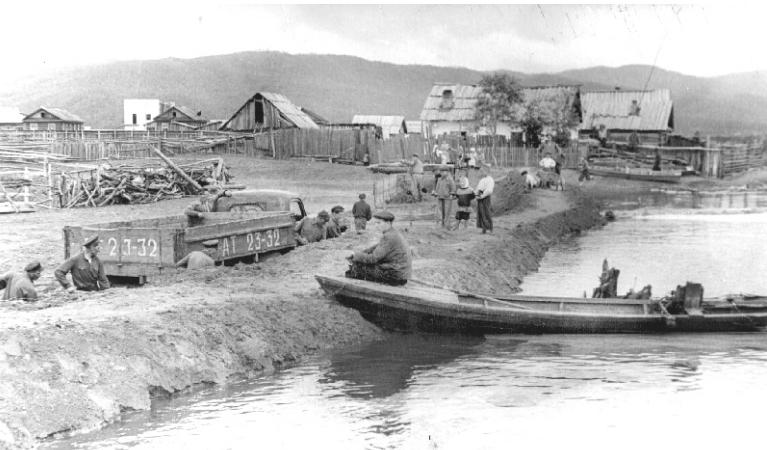
Место рождения последыша Петеньки – Амуро-Балтийск, Покшановский хутор на берегу озера. В июле тридцать восьмого года случилось большое наводнение, потому уехать маме в овсянковскую больницу не было никакой возможности. Впрочем, кто бы ее повез, кто бы дал лошадь – жene «врага народа»! Да и мама вряд ли оставила бы нас четверых да двух коров-кормилиц без присмотра на целую неделю. Повивальной бабкой была Анна Цируль. На другой день после родов мама уже была на ногах. Только вот молоко пропало, первые дни вместо грудного кормления давали мальчику завязанную в марлечку герметическую свеклу.

Судьба или какая-то высшая сила отводила от маленького Петра Петровича беду. Когда я бегала за повитухой, на обратном пути сорвала несколько первых ягодок земляники – и Пете, только что родившемуся, еще не обмытому, сунула в ротик эти ягоды, да еще и пальцем придавила. Ведь мог задохнуться младенец, и никто не узнал бы причину. Потом как-то к осени (было ему месяца три) дала братику по доброте душевной пососать кусочек сахара. Рафинад тогда был крепкий, долго не таял, грани острые. Попал мой сахар братику в дыхательное горлышко. Бегаю я по берегу Покшановского озера, трясу младенца на руках, он задыхается, а из горлышка течет кровь. Отвело оба раза беду страшную. Не пал грех на душу мою.

Петей брата назвала я, сама ходила в деревню регистрировать его рождение. Не знаю, может, мама дала бы сыну другое имя, но я заартачилась, заявила, что если это будет не Петя, то я его и нянчить не буду. Мама в ответ промолчала. Называя сына Петей, она, вспоминала другого Петра, пропавшего где-то в тюремных застенках отца.

Рос наш Петенька преображенским, любимцем всей деревни. Потому и капризуля был порядочный. Рассердится – хлоп на пол и ревет белугой, никто не успокоит. Однажды, когда он выкинул очередной такой финг, мы с мамой не стали обращать на него никакого внимания. Он поднял голову, посмотрел на нас – ноль внимания. Хотел еще раз

заплакать, но без зрителей, вроде, это ни к чему. Замолчал, поднялся сам с пола и стал спокойно играть. Больше ни разу на пол не падал. Но капризничать не перестал. Айе было лет шесть, брату – года два-три. Ночью у Пети очередной «бзик»: «Хочу гороха! Хо-чу го-ро-ха! Пусть Айна принесет!» Темнота кромешная. На улице ливень. Дали Айе какие-то бывшие в доме стручки. Взял, вроде успокоился, а потом потрогал платье сестры, захныкал: «Почему платье сухое-е-е?» Одно время в раннем детстве (около годика) любимым занятием Петра младшего было бросание тарелок



Река Зея. Наводнение

Мама уходила на работу, мы усаживали братишку на стол, подвигали тарелку, а он ловко смахивал ее на пол. Тарелка вдребезги, нам всем смешно до колик в животах. Закончились эти «игры», когда была разбита последняя в доме тарелка. И ведь мама ни слова тогда нам не сказала. Игрушек у нас не было никаких. Палочки, щепочки, травинки, и как великолепное сокровище – осколок цветного бутылочного стекла. В доме на Ледзеркстовском хуторе было очень холодно. Спали в постели все вместе, согревая друг друга. Зато во дворе стояла русская печь, где Дед Мороз обычно прятал свои подарки.

Бани в деревне не было. Купали детей раза два в месяц. Ванну с водой ставили на табуретку рядом с чугунной печкой. Однажды, когда Петю вынимали из ванны, он, голенький выскользнул из рук и упал затылочком на печь. Кожа мигом приварилась к раскаленному металлу. С тех пор и остался у него шрам на голове.

Пете четыре года. Увидел впервые, как цветут тополя, что росли за нашим хутором в яме. До этого брат часто слышал от колхозников непонятное слово «херовина». И, видно, теперь сообразил детским умшком, что наконец-то он это самое и увидел. Запыхавшись, прибежал домой и объявил: «Мама! Там в яме такие черные херозины болтаются!» Так он, дитя природы, учился русскому мату.

Как-то метали мы с Петей стог на Линдемановском хуторе. Я подавала – Петя вершил. Только закончили, обрадовались, стог наш упал. Немудрено, «метателю» нашему всего семь лет, вес, как у пушинки, да и опыта никакого. Обидно было до слез! Домой возвращались поздним вечером. Работничек мой засыпал на ходу, беспрестанно спотыкался о малейшую неровность на дороге. У озера ударился крепко левой ногой о камень.

Кровь ручьем, а он прыгает на одной ноге и кричит: «Слава Богу, на счастливой ноге!» (считалось, что споткнуться на левую ногу к счастью). Хватало же нам всем сил тогда как-то жить и не унывать.

Следуя отцовским традициям, младший мой братик непременно участвовал во всех школьных концертах. Как-то мы выезжали в Овсянку, Петя сольно исполнял латышскую песню о сиротах. Зрители без конца просили его повторить. И он пел снова и снова. Не знаю, как там мастерство исполнения, но имидж... соответствовал. Исполнитель радовался, а мы безутешно плакали за кулисами.

Когда Петя пришел в 5 класс Овсянковской школы, учительница Нина Александровна начала урок: «Встаньте, дети, у кого погибли отцы!» Она, конечно, имела в виду «погибли на войне». Петя встал первым. Ничего не сказала Нина Александровна, только посмотрела печально.

Осталось сказать, что теперь наш младший Петр Петрович очень похож на папу во всем. Отец оживает в его движениях, жестах, в лице, голосе, облике, даже симпатиях и антипатиях. Педагог Петр Лакстигал – сын учителя Петра Петровича продолжает отцовское дело в новом столетии.



*Река Зея. Шимановский район Амурской области, 50 гг.
Фото из собрания Музея оккупации Латвии*



*Деревня Восточная. Куйбышевский район Амурской области, 1955 г.
Фото из собрания Музея оккупации Латвии*

Узелки моей памяти

Из всей семьи я единственная появилась на свет в родильном доме города Благовещенска. Роды у мамы были трудные. А вечером папа как-то сумел пробраться в больничную палату. Подошел в халате, белой шапочке к ее изголовью. Медсестра, улыбаясь, сказала: «К вам профессор пришел». У мамы мелькнула мысль, если вызван профессор, значит положение очень плохое, и она потеряла сознание. Теперь пришло время пугаться находчивому «профессору» и сестре. Мама рассказывала, что родилась я страшно некрасивая: желтая, с длиннющей шеей. Этого, конечно, я сама не могла помнить. Попытаюсь распутать узелочки моей памяти.

Из детства помню, как папа давал одну конфету и говорил: «Угости маму, папу, братика, сестричек». И я добросовестно крошила эту конфету, чтобы хватило на всех. Мама сердилась, а папа обычно отвечал: «Пусть теперь привыкает кормить мать-отца. Позже не научишь».

Помню раскулачивание в тридцатые годы. «Кулакам» было велено собраться за двадцать четыре часа, а ведь каждая семья держала скотину, и хлеб пекли женщины сами. Ехали мимо школы подводы. С плачем и криками покидали люди насиженные места. А следом бежали «бедняки», бесстыдно выхватывая с телег испеченный в дорогу хлеб.

Здешних «кулаков» ссыпали подальше, а к нам везли несчастных из Приморья. Добрые хозяева, уважаемые люди в одночасье превращались в изгоев. А «бедняки», бездельники, которые не только для людей, даже для себя палец о палец ударить не хотели, становились хозяевами жизни, учили хозяйствовать и мыслить по их указке.

Помню, как мы замазывали чернилами в учебниках все новые и новые портреты «врагов народа». На обложках тетрадей был нарисован вещий Олег, на ножнах и щите видны разные черточки. Если очень внимательно искать, в разных сочетаниях можно разглядеть буквы, из которых, при очень долгой комбинации, оказывается, можно составить фразу: «Долой, ВКП(б)». Значит, разъясняли нам специальные товарищи, в типографию затесался враг.

Помню, провели радио, и каждый день все слушали процессы над очередной партией «врагов народа». Один из них вел себя гордо, отказался от последнего слова и о помиловании не просил, а папа восхищался им.

В тридцатые годы стало модным отрекаться от родителей. Как сейчас в газетах печатают поздравления близким, так тогда писали: «Я, такая-то, по политическим мотивам отрекаюсь от своих родителей, обязуюсь не писать им и не встречаться с ними». Некоторые родители, особенно «стовёрстники», оберегая своих детей, сами советовали им отречься от них.

После ареста папы мне тоже предложили отречься от него. Я отказалась. Поэтому меня в комсомол не приняли, хотя в отчетах райкома комсомола, где перечислялись проводимые мероприятия, я проходила как учительница-комсомолка.

Еще в школе участь, была под надзором. Все письма проверялись. Один раз лопнула у меня веревочка, которой был подвязан чулок (резинок-то не было). Во избежание конфузов, пришлось снять пионерский галстук и им наскоро подвязать чулок. Кто-то видел, донес, приписали «враждебные действия по дискредитации пионерской

организации». В таких ситуациях Нина Александровна Федорова оставляла меня в классе и учила: «Знай, что в каждом коллективе есть несколько стукачей. Бойся откровенно говорить с людьми. Смотри, если вы только вдвоем и с глазу на глаз – можешь говорить. Но, в случае чего отпирайся от всех своих слов. Если хотя бы невдалеке третий человек – молчи!» Так в страхе и жили. До сих пор он не выветрился.

Летом я пасла своих коров и читала вслух: «А вы, надменные потомки...» Думала о папе и плакала навзрыд.

После беды хорошие люди от нас не отвернулись, многие относились по-доброму. Деулины и Кондрашовы делились хлебом и одеждой. Дед Ищенко ночью привозил дрова, кто-то оставлял буханочку хлеба в платочке на углу избы. Меднис двадцать лет вел наших пчел. Петр Лизандер пешком (а у него была больная нога) приходил из Овсянки, чтобы помочь нам выкопать картошку.

Муж Надежды Александровны устроил меня работать в ликбез-школу. Петр Павлович Поляков, суровый и строгий учитель, которого я очень боялась, оказывается, покупал мне ткань на платье, а потом директор в конце каждой четверти выдавал мне эти отрезы «премией» за отличную учебу. Я даже не подозревала об этом. Конечно, подарки из жалости я бы ни за что не взяла. Лишь после смерти Петра Павловича узнала об этом. Был какой-то кодекс чести, благородства у старых интеллигентов (у молодых не было). И все за так, бескорыстно. А ведь могло и им всем не поздоровиться за помочь «членам семьи врага народа».

Помню, как перед войной черви осадили наш дом. Черные, лохматые в великом множестве покрыли всё живым шевелящимся одеялом (сколько вокруг видел глаз). Где они проходили, не оставалось ни травинки, ни листочка. Мы их кололи деревянными пиками. Старые люди говорили, что это предвестье страшной беды.

Тогдашний колхозный строй все равно, что крепостное право: уйти из колхоза нельзя (лишат земли, скота, дров), из деревни уехать тоже невозможно. Никаких удостоверений личности, паспортов колхозникам не выдавали. Мало того, что отрабатывали барщину: работали за «палочку», то есть проработанный день отмечали палочкой и ни копейки за него не платили. Так надо было еще сдавать оброк, контрактацию, по-новому: масло топленое (себе оставляли лишь пахту), шкуру, мясо, яички, шерсть... А еще налоги, займы, страховки... Хорошее зерно – в заготконтору, отходы – колхозникам. И все платил народ из последних сил, никто не роптал, так были придавлены.

Я уже училась в восьмом классе ходила в папиных валенках и в пальто, что дала поносить тетя Ева Рагозина (оно могло вместить в себя трех мне подобных). В деревне своей учительствовала с пятнадцати лет, некому было. Еще и выработку минимума трудодней требовали. Одна косила

сено и для своих коров (даже теперь во снах кошу, кошу в нашей школьной низинке). Вязала снопы от нашего хутора до первого лесопункта. А жабрея там было не меряно! Утром по росе еще терпеть можно, а днем, когда все высохнет невыносимо больно! Рассекает до кровушки! На

учительской конференции все косились на мои израненные, исцарапанные руки. А одна дама даже спросила, не чесотка ли у меня.

В сорок втором году, когда отправили меня работать в город Зею, получила как служащая первую хлебную карточку (колхозникам не полагалась). Можно было эти четыреста грамм отоваривать хлебом или такими же серыми булочками. Я один день брала хлебом, другой булочками. Хлеб растягивала на два дня, а булочки морозила. Когда их накапливала сумочка, в январе, в



Кладбище в Благовещенске. Амурской область, 50 гг.

Фото из собрания Музея оккупации Латвии

Самую стужу несла ее домой в Амуро-Балтийск. За сутки успевала пешком туда и обратно. Малыши наши впервые за пять лет увидели такой белый хлеб.

Колхозный конь Орлик сломал ногу, пришлось его забить. Мясо привезли на зейский рынок. Мама в счет своих трудодней выписала кусок килограмма в три, и мне здесь на рынке его передали. Сразу рядом очутился милиционер и меня под конвоем повели в отделение. Идти надо было мимо окон школы. Уж как я упрашивала милиционеров не идти рядом, хотя бы у школы, не послушались. Не знаю, в чем меня заподозрили, один из представителей власти, кажется, сам имел виды на этот кусок. Мясо мне все-таки отдали и меня отпустили после долгих расспросов. Суп с кониной получился сказочно вкусным! Хотя квартирная хозяйка брезговала и выделила мне для варки поганую кастрюлю.

Во время войны работали без выходных, отпусков, праздников. Осталось ощущение постоянного холода.



Деревня Восточная. Куйбышевский район Амурской области, 1955 г.

Фото из собрания Музея оккупации Латвии

Словно холодила сама война. Четыре года с июня по октябрь работала с учениками на колхозных полях. Где-то у Горького есть фраза «нарывы на истощенном войною теле». Сколько их, нарывов, было на каждом из нас в военные годы. На маме «сучье вымя» у лопатки выросло. Огромный нарыв с множеством стержней. Мама не могла одеться, сидела на солнышке с кофточкой на плечах и плакала.

Нарывы зловещие, багрово-синие по всему телу, особенно на ногах, были у многих. Помню, появились

научились сами пополнять рацион. Для этого на вилы надевали сноп пшеницы и поджигали с комля. Загоревшаяся солома давала пламя, которое позволяло чуть поджарить колоски. Потом мы собирали их с земли, терли в ладонях, отвеивали и ели. Вкусно необычайно! Правда, после такого обеда все становились похожими на негров. Руки по локоть в саже, лицо, уши тоже. Только зубы да глазные белки сверкают. И этого не позволяли делать. Приходилось прятаться в лощинках, за пнями. Карпо Неверовский, тогдашний председатель колхоза, обладал удивительным чутьем. Идет, бывало, картуз нахлобучен, козырьком глаза закрыты, ног своих и тех не видит, непременно выйдет на группы жарящих зерно. Нюх что ли был особый?

Работали все босыми. Потом в колхозе пала лошадь светло-серой масти. Нам всем дали по лоскуту кожи. Сделали по краям лоскутов дырочки, вдернули шнурки. Вот, вроде, и обулись. Легче стало ходить по стерне. А после еще вроде поощрения выдали мне пару лоскутков. Помню, с какой радостью несла я их на наш хутор под черемухами в подарок малышам и казалась сама себе в тот миг всемогущим джином.

Где-то на четвертом году после войны прислали в школу наглядные пособия: рулон картин, на которых изображались хищные звери. Я обрадовалась, украсила всю школу этими плакатами, а в центре поместила портрет Сталина. А ведь запросто могли «контру» приписать! Обошлось...

Однажды осенью (шла уже шуга) мы переправлялись через речку Зею. Лодка опрокинулась, мы стали тонуть. Однако люди (один из них, покойный ныне Семен Путенков) выловили нас километрах в двух ниже по течению, откачали, пустили жить. Мама потом назвала точное число и час, когда это случилось. Почувствовала!

До войны о женихах не думала. В войну их всех перебили: из каждой сотни моих ровесников уцелели лишь трое. А нас-то оставалось, по-прежнему сто! Так что можно меня отнести к военным вдовам, которые овдовели, не успев выйти замуж. Да что там! Не успев и поцеловаться...

Когда кончилась война, я была уже перестарком. Ровесники обзавелись семьями. Парни брали тех, кто помоложе. Вторгаться в чужую семью не могла. А другого было не дано. Так и осталась я не продолжением нашего рода, а окончанием одной веточки. Бодливой корове Бог рогов не дал...

Вот уже и моя старость пришла. Теперь я намного старше своих родителей. А так не хватает отца до сих пор! Какой-то комплекс безотцовщины. Насколько была бы богаче моя жизнь, если бы он был рядом.

Перебрала нашу жизнь, все узелочки памяти развязала, и подумала: какое это было счастье, когда все еще были живы, все были вместе, могли слышать родные голоса, улыбаться друг другу...

Вечная память, царство небесное и покой душенькам дорогих нам усопших, благополучия всем живущим.

Продолжается наш род тоненьким росточком. Пусть обойдут земные бури самого маленького из ныне здравствующих Лакстигалов, пятилетнего Петеньку.



Исполнительный комитет Большереченского городского Совета народных депутатов. Большереченский район Омской области 50 гг.

Фото из собрания Музея оккупации Латвии

враз два здоровых нарыва на обеих пятках. Так и ходила, как балерина, на носочках. Колхозники смеялись: «Гляди-кося, как подкрадывается!» И так весь световой день на цыпочках.

Я с отрядом учеников работала в Березовке. Еда – огурцы (помню, председатель райисполкома Корнеев, бывший учитель, говорил: «Огурец – девяносто пять процентов воды и пять процентов ерунды») и гречневая сечка, синеватая, ничем не заправленная. Так, болтушка жиденькая. Изо дня в день, три года. Позднее мы

1997 год